

И. И. ПАНАЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ  
ВОСПОМИНАНИЯ

а - 144444



МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1988

**ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ. КРУПСКОЙ**

имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.

На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразили прежде всего их пытливый взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.

Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.

«Слава богу, я теперь отрезвился,— говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Бакуниных),— отделался от прекраснотушия и мистических бредней и начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее».

Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.

К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеевич Аксаков.

Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеевич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок, особенно с последним... (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни.)<sup>148</sup> Я знал это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеевичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.

С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеевич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.

Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочис-

ленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве... Дом Аксаковых и снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.

С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет<sup>149</sup>. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было ужение, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературною известностию, которую он приобрел впоследствии...

Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.

Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз...

Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его

несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нарраспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство... Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастье родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.

В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности<sup>150</sup>. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием...

Единственной нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях...

Если бы я приехал в Москву пятью годами позже,— нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он оставивал меня перед Иваном Великим, перед Василием Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом — и глазки его сверкали — он сжимал мою руку



своей толстой и широкой рукой... «Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!» — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностью и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:

— Да! вы *наш*, москвич по сердцу!

Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.

Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в «Портретной галерее» г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.

Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здорье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником <sup>151</sup>.

Белинский горячо любил Константина Аксакова. «Благороднейший, честнейший юноша, — говорил он об нем, — но в голове его какая-то узкость, китаизм, несмотря на глубину духа, а в характере неподвижность и упрямство».

Белинский предчувствовал, что они должны разойтись скоро <sup>152</sup>.

. . . . .

В доме у Аксаковых я познакомился с Н. Ф. Павловым, его супругою Каролиною Карловной, урожденною Яниш, с М. Н. Загоскиным, который был тогда директором московских театров, с И. Е. Великопольским и с многими другими московскими известностями.

Великопольский имел собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю — а может быть, без всякого случая — бал и пригласил к себе всех своих старых и новых знакомых и в том числе меня и Белинского. С Белинским он познакомился через Аксаковых и, зная стесненное положение Белинского, нередко помогал ему. Белинский намекает об этом в одном из писем ко мне, напечатанных мною в «Воспоминаниях» моих об нем. Великопольский, человек с добрым и доверчивым сердцем, всю жизнь был увлекаем двумя пагубными страстями: к картам и к литературе; ни в литературе, ни в картах ему не везло. За одну из его драм цензор Ольдекоп был отставлен от должности, и благородный автор тотчас же предложил ему ежегодно выдавать его цензорское жалованье. Уволенный цензор отказался, кажется, от этого великодушного предложения<sup>153</sup>. Эту драму Великопольский в начале сороковых годов читал нам в «Отеле Демута». На этом чтении присутствовал между прочими и С. Т. Аксаков, находившийся в то время в Петербурге. Перед чтением слушателям дан был роскошный обед... Чтение началось в 7 часов и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и от времени до времени вздрагивали. С лица С. Т. Аксакова, сидевшего против самого автора, лился пот градом, он беспрестанно вытирал свой лоб и с некоторым ожесточением упирался о спинку стула, который трещал при этом напоре. Когда чтение кончилось и Сергей Тимофеевич встал со стула, стул совсем развалился. В карты Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали, и потому, вероятно, великий поэт питал к Великопольскому какую-то ироническую нежность. В собрании сочинений Пушкина находится послание поэта к Великопольскому...

Часу в девятом я отправился на бал к Великопольскому вместе с К. С. Аксаковым и Белинским...

Дом Великопольского был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всем разгаре... Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфеты и фрукты... Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминирована и импровизировалось народное гулянье. Около подъезда дома, на дворе, толпы густели; многие господа, не знакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо со стоявшими тут и отдавал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфетами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина... Все это было чрезвычайно оригинально.

— Вот какие праздники дают у нас в Москве! — воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне. — Где вы увидите что-нибудь подобное?.. Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?..

...К числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал М. Н. Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические поговорки, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура — маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная — как-то невольно располагали к нему... Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностью. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспаривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и нали-

вались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха,— говорил он К. Аксакову,— завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выведенного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово,— немцу смерть. Черт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к магушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе,— ну, а уж твои приятели... Этих бы господ я...» Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение...

Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал<sup>154</sup>. Ненависть его ко всему иностранному была забавна... «Пьют лафиты,— говорил он,— да разные иоганисберги и шато д'икемы и хвастают этим, а не знают, что у нас есть свое родное, крымское, которое ни в чем не уступит их д'икемам и лафитам».

Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. «Какое вино-то? — приговаривал он, — букет-то какой!» Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его... «Ну, а какое это вино?» — спросил он, устремляя на меня пронизательный взгляд и улыбаясь. — Я не знаю... — отвечал я, — лафит, кажется?.. — «Ах вы, европейцы! — вскрикнул Загоскин, — лафит! лафит!.. Нет, милый, я с Депре с вашим не имею знакомства... Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве... Чем оно хуже вашего лафита?.. Да и Депре-то ваш ведь надувает, я думаю, вас: он продает вам втридорога то же крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-ла-роз, а вы смакуете да восхищаетесь: какой лафит! 15 р. бутылка! — а мне эта бутылка стоит 3 р. 50 к.! Пора нам стряхнуть с себя иностранную дурь!..»

Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учи-

теля. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекопа (память у него была удивительная) и говорил по-французски презабавно, большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре, в царской ложе, спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол (он был очень рассеян) и потом, подойдя к даме, сказал: «Ублие, прянсес»...

Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно потому, что встретил меня в доме С. Т. Аксакова, с которым он был очень дружен.

— Мы его сделаем москвичом,— говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу.— Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы.

Загоскин пригласил С. Т. Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой.

— Едем, едем... пора! — говорил мне Загоскин.—

Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет... Эй, человек, шляпу, пальто!.. да не забыл ли я чего?

— Табакерка-то со мною ли?— спрашивал он у лакея...— Здесь, здесь!— кричал он, ощупав ее в кармане.

Наконец мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи.

— Садитесь, садитесь скорей,— говорил он мне. Я сел... Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.

— Не погуби, Михаил Николаич, молодого-то человека. Ты мне за него отвечаешь,— кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеич.

— Ничего, ничего, милый,— кричал Загоскин,— я доставлю тебе его в целости. Будь покоен!..

От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно; но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился;

лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но наконец не выдержал.

— Позвольте, я буду править,— сказал я Загоскину.

— Ничего, ничего, милый, не бойтесь... Это лошадь смиренная, она уж знает мои привычки...

Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.

— Нет, нет — не оглядывайтесь,— вскрикнул Загоскин,— мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву...

Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе...

— Ложитесь под это дерево,— сказал он мне,— и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший вид...

Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда — озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез...

— Ну, что... что скажете, милый,— произнес он взволнованным голосом,— какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву,— может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иван-то Великий как высится... господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево...

Загоскин снял очки, вытер слезы, наворачившиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:

— Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?

В экстазе он начал говорить мне «ты»,

Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глаза-

ми, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то — все это сильно подействовало на меня.

— Благодарю вас, — сказал я Загоскину, — я никогда не забуду этого вечера.

Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:

— Ты настоящий русский, ты наш, — только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш — малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца...

И он тыкал себя пальцем в левый бок...

С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта...

— Не знаю только, удастся ли, — говорил он, — надо поощрять немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!

С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: «Ну, что Мочалов?..», получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство...

— Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! — восклицал он, ударяя кулаком по столу, — что с ним делать?

Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей... Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напиивался, буянил и кричал: «На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!»

— Теперь я уж махнул рукой на него, — прибавил Аксаков, — едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем — кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в «Гамлете».

— Ну, милый, я тебе привез приятную новость,— заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова,— говорят, Молчалов приходит в себя... Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)... Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен...

— Бог даст, ничего,— заметил Сергей Тимофеич,— в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош...

Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою...

Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля... Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: «посмотрим, что-то будет!»

По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачав головою, произнес: «нет — из рук вон плохо». Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование... Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: «он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены». Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.

— Какая гадость,— сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады,— ведь смотреть, братец, нет никакой возможности...

— На кого? На Шекспира? — перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы... — То-то, милый,— продолжал он,— вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил...

Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его...

— Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть... Понимаешь?..



— А-а! — протянул Загоскин. — Ну, да я предчувствовал, что он играть не может.

— Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..

Загоскин вспыхнул.

— Да ведь ты же приставал ко мне: «скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?..» Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.

После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал — махнул рукой и уехал...

Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре... «Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?..»<sup>155</sup>

Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.

Через неделю после этого давали «Отелло».

В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Дездемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица — глубоким и истинным чувством.

Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете. . . . .

— У меня завтра вечером, — сказал мне Сергей Тимофеич, — Загоскин читает свой новый роман «Тоску по родине». Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей...

Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.

Я сидел возле С. Т. Аксакова.

Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту... Вдруг этот приятно усыпляющий

слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь... Я невольно встрепенулся... Место действия романа в Испании,— как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:

— Как хорошо это!

Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:

— Что это вы? — шепнул он мне. — Ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..

После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:

— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?

Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:

— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..

И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина...

...Дни летели для меня в Москве весело, разнообразно и с быстротою невероятною. Мысль о том, что я должен месяца через два оставить Москву (мне необходимо было ехать по делам в Казанскую губернию), приводила меня в беспокойство.

— Если бы можно, я никогда не расстался бы с Москвою! — говорил я Константину Аксакову...

— Да переезжайте совсем к нам, — возражал Аксаков, — у вас нет ничего общего с Петербургом.

Мы говорили вполголоса. В нескольких шагах от нас у окна (это происходило в гостиной Аксаковых) стоял Сергей Тимофеич с М. П. Погодиным, с которым я еще не был знаком.

— Вот, Михайло Петрович,— сказал Константин Аксаков, подводя меня к нему,— петербургский литератор, который в восторге от нашей Москвы.

Аксаков взглянул на меня с любовью и представил меня Погодину.

Погодин протянул мне руку.

— Очень рад с вами познакомиться... А «Отечественные записки»,— сказал он через минуту, обращаясь ко мне,— прекрасный журнал, судя по вышедшим номерам. Молодец Краевский!.. Нам бы соединиться вместе. Я охотно отдал бы ему мой «Москвитянин». Право. Напишите-ко ему об этом... Мы не расходимся, кажется, во взглядах.

Первые номера «Отечественных записок» вообще одобряли все известные московские литераторы. У постели тогда больного Н. А. Мельгунова довольно часто собирались по вечерам: Шевырев, Хомяков, Павлов (Н. Ф.), Конст. Аксаков и другие... Шевырев и Хомяков также очень хвалили журнал г. Краевского<sup>156</sup>. Здесь я услышал в первый раз из уст самого автора стихотворение:

Гордись,— тебе льстецы сказали...

и т. д.,

которое производило в Москве фурор еще до появления в печати.

Кстати об этом стихотворении. Оно в июне 1839 г. было послано Н. Ф. Павловым к Краевскому для напечатания в «Отечественных записках»...

Осенью, по возвращении моем из Казани в Москву, я получил письмо Краевского (от 10 октября), в котором он между прочим писал мне:

...«Какова оказия! Пожалуйста, сообщите все следующее *аккуратно* Николаю Филипповичу (Павлову)... Начинаю ab ovo \*. Он летом прислал мне стихотворение Хомякова «Гордись, тебе льстецы сказали». Я, как расчетливый человек, отложил напечатание его до осени. Настал сентябрь; я представляю это стихотворение в цензуру. Цензор и ценсурный комитет вычеркивают стих: «Скажи им таинство свободы». Заменить этого стиха я ничем не осмелился и потому написал к Николаю Филипповичу, чтоб спросил на сей

\* Сначала.— *Ред.*

казус решение самого Хомякова. Пока я жду, вдруг, ровно неделя тому назад, является в 230 № «Санкт-петербургских ведомостей» (академических) это же стихотворение Хомякова под названием «Отчизна», без подписи имени автора и со стихом, у меня вычеркнутым, но только без тех шести стихов, которыми Хомяков заменил находящиеся в середине два стиха:

А твой завет, твое призванье,  
Твой богом избранный удел...

и которые в доставленной мне рукописи написаны рукою Николая Филипповича. Это изумило меня! Я тотчас же пишу письмо к князю Дондукову (тогдашний попечитель санктпетербургского округа и председатель ценсурного комитета) и прошу позволения напечатать стихи Хомякова в том виде, как они ко мне присланы и с примечанием<sup>157</sup>; он позволил (они помещены в 10 книжке); но на другой же день в 231 № «Санктпетербургских ведомостей» помещена *поправка*, в которой сказано, что «Отчизна» написана Хомяковым... «Инвалид» и даже «Губернские санктпетербургские ведомости» перепечатали это стихотворение прежде «Отечественных записок». Что все это значит? Не растолкует ли Николай Филиппович?

Если же подобная штука сделана *без воли Хомякова*, то надобно, чтобы он написал сам к Дондукову письмо, в котором жаловался на подобное своеволие; иначе ни одна статья наша не будет безопасна от такого грабительства. Я этого дела здесь разыскать не могу, ибо не имею сношений ни с Очкиными, ни с какою этою. . . . .»

Я передал все это Павлову; но каким образом разъяснилась эта *штука*, по выражению Краевского, я не помню.

Однажды ночью мы возвращались от Мельгунова пешком домой по бульварам: Павлов, Хомяков и еще не помню кто-то... Разговор между Павловым и Хомяковым был необыкновенно одушевлен. Предметом его был некто *Милькеев*, издавший незадолго перед тем, под протекциею Павлова и Хомякова, небольшое собрание своих стихотворений, которые теперь никому не известны, кроме записных библиографов. Павлов и Хомяков были тогда в восторге от громких стихов

Милькеева и считали его одною из самых блестящих надежд русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже известная тогда своим поэтическим даром и альбомом, в котором ей написал что-то сам Гете<sup>158</sup>, — удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, кажется, было в это время двадцать два или двадцать три года. Это был талант-самородок, как выражались тогда; он не имел почти никакого образования и вовсе не знал иностранных языков. Николай Филиппович Павлов, как человек светский, доказывал, что Милькеева необходимо заставить учиться по-французски, что французский язык доставит ему возможность сблизиться с порядочным обществом, которое будет способствовать к его развитию... Хомяков горячо возражал против этого, говоря, что ни французский язык, ни общество не могут принести ему ровно никакой пользы, напротив — вред; что его надо принудить заняться серьезно немецким языком, что знакомство с немецкой литературой и философией расширит его миросозерцание. Спор был горячий; спорящие не хотели уступать друг другу и расстались, не решив участь гения-самородка... Через полгода после этого к Милькееву совершенно охладели, и он вскоре умер... если я не ошибаюсь, в крайней бедности.

Когда я рассказывал об этом споре за Милькеева Белинскому, Белинский грустно улыбнулся.

— Вот чудаки-то! — воскликнул он, — вместо того чтобы спорить об нем и издавать его стихотворения, не имеющие ничего, кроме риторических фраз, лучше бы просто помогли бедняку. Они ему сделали большой вред... Он по их милости возмечтал о себе бог знает что! Да если бы он имел и действительный поэтический талант, так и тогда бы он умер с голоду, потому что за стихи не платят. Павлов хочет сделать его светским человеком, Хомяков мыслителем, — а ему прежде всего нужен кусок насущного хлеба и средства, чтобы добыть его<sup>159</sup>.

. . . . .

После поездки моей с Загоскиным на Воробьевы горы я написал восторженную, то есть исполненную реторики, статейку о Москве, с восклицательными и вопросительными знаками, бесчисленными точками

и со всевозможными эпитафиями о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других. Она была напечатана в «Литературных прибавлениях к Инвалиду» г. Краевского. Статейка эта, впрочем, была искренняя, несмотря на риторические фразы, и ею я приобрел себе еще большее расположение семейства Аксаковых.

Константин Аксаков был очень доволен ею, обнимал меня и крепко жал мне руки <sup>160</sup>.

Вечером в тот день, когда он прочел ее, мы отправились с ним бродить по Москве и, утомленные, расположились, наконец, отдохнуть на береговом скате Москвы-реки, в виду Драгомиловского моста.

Мы лежали на траве без сюртуков. Дневной жар начинал спадать понемногу. Легкий вечерний ветерок приятно освежал нас... Закат был великолепный.

— Есть ли на свете другой город, — говорил мне Константин Аксаков, — в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?.. Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне. Посмотрите, как красиво разбросаны эти домики в зелени на горе... В Москве вы найдете множество таких уединенных и живописных уголков, даже в нескольких шагах от центра города... Вот ведь чем хороша Москва! Я не понимаю, как можно жить в вашем холодном гранитном Петербурге, вытянутом в струнку?.. Нет, оставайтесь у нас; у вас русское сердце, а русское сердце легко может биться только здесь, среди этого простора, среди этих исторических памятников на каждом шагу... Как не любить Москву!.. Сколько жертв принесла она для России!..

Аксаков постепенно одушевлялся и, заговоря об этих жертвах, вскочил с земли; глазки его сверкали, рука сжималась в кулак, голос его делался все звучнее...

— Пора нам сознать нашу национальность, а сознать ее можно только здесь; пора сблизиться нам с нашим народом, а для этого надо сначала сбросить с себя эти глупые кургузые немецкие платья, которые разделяют нас с народом (и при этом Аксаков наклонился к земле, поднял свой сюртук и презрительно от-

бросил его от себя). Петр, отрывая нас от нашей национальности, заставлял брить бороды, мы должны теперь отпустить их, возвращаясь к ней... Так-то, Иван Иваныч! — сказал Аксаков в заключение, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я приподнялся с травы. — Бросьте Петербург, переселитесь к нам... Мы славно заживем здесь. Не шутя, подумайте об этом.

Он нагянул на себя узкий немецкий сюртук, который как-то неловко сидел на его коренастой фигуре, и мы отправились домой, когда уже солнце совсем село...

...Лет через пять после этого Константин Аксаков наделал в Москве большого шума, появясь в смазных сапогах, красной рубахе и в мурmolке.

На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.

— Сбросьте это немецкое платье, — сказал он ей, — что вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте наш сарафан. Как он пойдет к вашему прекрасному лицу!..

В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан.

Князь Щербатов улыбнулся...

— Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны? — возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.

— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак, — и почему же не так?.. Скоро наступит время, когда все мы наденем кафтаны!

Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.

— Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым? — спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.

— Право, я не знаю хорошенько, — отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, — кажется, Константин Сергеевич уговаривал военного губернатора надеть сарафан... что-то вроде этого...

## ГЛАВА II

*Кетчер. — Несколько слов о кружке, к которому принадлежал он. — М. С. Щепкин и его семейство. — Поездка в Химки к нему на дачу. — Гоголь у Аксаковых. — Чтение I главы «Мертвых душ». — Представление «Ревизора» в присутствии автора. — Н. Ф. и К. К. Павловы. — Кетчер и Павловы.*



Кружок Белинского был в очень коротких и близких сношениях с М. С. Щепкиным и его семейством. Я был знаком с Михайлом Семенычем еще до приезда моего в Москву и тотчас по приезде познакомился с его семейством.

У Щепкина часто сходились Катков, Белинский, братья Бакунины и Кетчер, переводчик Шекспира. Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся. С бесцеремонным участием он входил тотчас же во все семейные дела... Кетчер пользовался между всеми своими близкими и в кружке Белинского репутациею необыкновенно прямого, честного человека, готового хоть на плаху за друзей своих.

Наружность Кетчера не имела большой привлекательности; но простота его манер, доходящая до грубости, бесцеремонность обращения со всеми, впадающая в некоторый цинизм, резкая, непрощенная правда, которую он бросает в лицо и другу и недругу, крикливый голос, заглушающий все голоса, руки, вечные движущиеся и рассекающие воздух, как крылья ветряной мельницы, добродушный, но оглушающий хохот на каждом шагу, вырывающийся из огромного рта, — все это вместе, может быть, неприятно действует на людей нервических, но как-то располагает к нему невольно и внушает доверенность. Приятели Кетчера, подшучивая над ним, уверяли, что он только в месяц раз умывается и не имеет в заводе ни гребня, ни щетки, потому что никогда не чешет головы. Впрочем, гребень и не нужен ему, потому что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуют на его голове щетинистую шапку.

Кетчер был приятелем Белинского и его друзей, но он, собственно, не принадлежал к их кружку...



За несколько лет до этого он сошелся с Искандером, когда еще тот был студентом Московского университета, и с его друзьями и товарищами по университету Огаревым и Сатиным.

...У них образовался свой кружок, главою которого сделался Искандер. С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, возвращенный на французской литературе XVIII века, пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы... Среди юношеского разгула за бутылками шампанского, разливаемого Кетчером с криками и хохотом (Искандер и Огарев не имели недостатка в средствах), приятели горячо рассуждали о разных общественных, исторических и политических вопросах. Они принадлежали в то время к числу немногих у нас, постоянно следивших за политическим движением...

Искандер познакомился с Белинским, статьи которого начинали уже обращать на себя внимание; но они не могли сойтись в то время, как сошлись впоследствии.

Белинский и его кружок, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категориями, весь погруженный в Гегеля, чуждый политических современных вопросов и движения, даже не замечавший их на высотах своего мирозерцания, не очень благосклонно поглядывал на кружок, образовавшийся под влиянием Искандера, который не увлекался немецкой философией и имел направление более практическое. Искандер и Белинский поговорили друг с другом и разошлись, конечно, с полным уважением друг к другу, но с убеждением, что им вместе делать нечего.

Белинский сожалел Искандера, Искандер еще более скорбел о Белинском... Вскоре, впрочем, судьба разбросала Искандера и его друзей по разным углам России. Кетчер один остался в Москве <sup>161</sup>.

.....

Белинский любил Кетчера, но замечал иногда, что он «тяжело действует на его нервы». Он называл его *несносным крикуном* — в глаза. «Все они прекрасные люди, — говорил Белинский о кружке Искандера, — но

их привычки и вино, которое льется на их сходках,— все это не по моей натуре. Из них только один Искандер — человек необыкновенно замечательный, блестящий и остроумный».

...Каким образом и где я познакомился с Кетчером, я хорошенько не помню. Мне теперь кажется, что я знаком с ним с самого рождения. Знаю только то, что через пять минут после нашего знакомства мы были уже на *ты*, и Кетчер обращался в первый день знакомства со мною так же бесцеремонно, как с теми, с которыми он был дружен несколько лет... Я как теперь вижу его перед собою, с бутылкою шампанского в руке, наливающего мне стакан с диким хохотом и кричащего: «Ну, пей же, братец, пей!»

В июне месяце Щепкин с семейством переехал на дачу близ *Химок* (первая станция от Москвы), и мы отправились к нему с Белинским и Кетчером. Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитом красным стаметом, как дьявол в «Роберте»<sup>162</sup>, и с корзинкою, из которой торчала солома.

— Что за корзинка? — спросил я его.

Кетчер захохотал во все горло.

— Ах ты, шут эдакой! — закричал он. — Кто ж об этом спрашивает? Натурально, это дорожный запас. У нас, брат, без этого никуда не ездят; тут две бутылки моих и две твоих, — понимаешь теперь?..

Всю дорогу Кетчер кричал без умолку, доказывая преимущества Москвы перед Петербургом во всех отношениях, и между прочим немилосердно ругал петербургских журналистов...

День был душный. Страшно парило. Пот лил с нас градом; я и Белинский задыхались от шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не действовало... Он все кричал, хохотал и размахивал руками... Когда мы подъезжали к дому, где жили Щепкины и которого не видно с большой дороги, Кетчер пребольно ударил меня по плечу.

— Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи — ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, — а это, смотри — какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом наперед

и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листьями, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал гложуть... Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом...

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестью и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями. Кетчер при этом встал в коляске, замахал руками и начал издавать какие-то крикливые звуки с хохотом...

Все это я помню живо, с мельчайшими подробностями, хоть 22 года прошло с тех пор!..

Михайло Семеныч встретил нас с распростертыми объятиями, и мы с каким-то наслаждением прикладывались к его мягким и полным щекам, дрожавшим при малейшем движении...

Щепкину было тогда лет за пятьдесят, и несмотря на свою тучность, он был еще очень бодр и жив.

Многочисленное семейство его едва помещалось в этом помещицьем деревенском доме. Кроме четырех его сыновей, из которых старший, Дмитрий, был уже на службе, а двое (Николай и Петр) студентами университета, — у него жили два молодых человека Барсовы, сироты, дети его сценического приятеля, и две пожилые девицы — сестры его, так же маленькие и толстенные, как он, с мужскими манерами, не выпускавшие изо рта чубуков и немилосердно истреблявшие жуков табак... Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая, имевшая южный тип своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах... Она незадолго перед этим ездила с отцом в Казань, где произвела большой эффект... У нее в это время было множество поклонников и, между прочим, один из самых юных приятелей Белинского, принадлежавший к его кружку<sup>163</sup>. Незадолго до этого, кажет-

ся, и сам Белинский был не совсем равнодушен к ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком.

В комнатах был порядочный хаос, точно как будто семейство перебралось сюда накануне. В большой комнате в середине дома, из которой был выход через балкон в сад, был накрыт длинный стол... В этой же комнате лежал на полу огромный пуховик, на котором сидела одна из сестер Щепкина с длинным чубуком во рту.

Кетчер прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на лед. Он расхаживал по всем комнатам, хохотал, кричал и отпускал дамам дешевые острооты, которыми сам был всех довольнее.

Между посторонними мы нашли здесь М. Н. Каткова, который был отчего-то в трагическом настроении: складывал руки по-наполеоновски, потуплял задумчиво голову и потом рассеянно поднимал ее, щуря свои маленькие глазки, ходил в отдалении от других, нахмуря брови, и бесился на Кетчера, который беспрестанно приставал к нему с шуточками, сопровождавшимися хохотом.

До обеда хозяин дома, его сыновья и Катков отправились купаться на пруд. Мы смотрели на них с берега. Щепкин-отец, великий мастер плавать, представлял нам разные фокусы на воде и между прочими остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой.

За обедом Щепкин, с свойственным ему мастерством, рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни, между прочим и *Сороку-Воровку*, которую впоследствии, со слов его, так хорошо изложил Искандер<sup>164</sup>. Кетчер разливал шампанское и кричал: «да ну, пейте же, пейте!», сам подавая пример всем. Он ходил кругом стола с бутылкою, как-то страшно размахивал ею, строго следя за непьющими, и останавливался перед недопитым бокалом с криками: «Это что такое? сейчас допить! Дрянь вы! Сколько вас тут, а четырех бутылок не могут допить!»

Всякий раз, когда Кетчер проходил мимо Белинского, тот хмурил брови и беспокойно взглядывал на него, но Кетчер, смотря на него с сожалением и качая головою, говорил:

— Не бойся, не бойся, не налью... Уж я тебя не трогаю, черт с тобой!

Белинский однажды (это он сам мне рассказывал, говоря о Кетчере) серьезно поссорился с Кетчером, принуждавшим его пить, и взял с него слово, чтобы он никогда не приставал к нему с вином. С тех пор Кетчер постоянно обходил его с бутылкой, отпуская, впрочем, каждый раз на счет его какие-нибудь остроты...

В это время Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роле «городничего»... Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благотельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию. Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский... Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот—детей своего товарища, и т. д.,— все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным... Темные слухи, робко выходявшие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы... Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности.

После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы — предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным

умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали...

После обеда, когда мы с старшим сыном Щепкина, погуляв по саду, возвратились в дом, я заметил во всех какое-то беспокойство... Катков был бледен, как смерть, и дышал неровно; около него ухаживал Кетчер с участием и с хохотом; Белинский, также несколько изменившийся в лице, тревожно прохаживался по комнате.

Мне стало неловко. Я понял, что тут происходит какая-то маленькая драма. Белинский вышел со мною в другую комнату...

— Пройдемтесь по саду,— сказал он мне.

Мы пошли в сад. Белинский молчал.

— Что такое с Катковым?— спросил я.

— С ним было дурно,— отвечал Белинский,— к тому же он еще совершенный ребенок и любит мелодраматические сцены...

Белинский остановился на этом. Я, разумеется, не расспрашивал его более и заговорил о другом...

Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожащим голосом:

— Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!..

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ».

Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня...

В исходе четвертого прибыл Гоголь... Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

— А, и вы здесь... Каким образом? <sup>165</sup>

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера <sup>166</sup>, внушил к нему энтузиазм во всем семействе.

Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых»<sup>167</sup>.

День этот был праздником для Константина Аксакова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

— Вот он, наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это, как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека...

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.

После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеевича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал,

у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожиданий необыкновенного события...

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шепотом спрашивали — будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего неизвестно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеевич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

— А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы не забыли его? — спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

— Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеевич не потерял духа и с большою тонкостью и ловкостью стал упрашивать его... Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть?.. — И приподнялся с дивана.

У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шепот: «Гоголь будет читать!»

Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.



Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий...

Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок...

Гоголь продолжал:

— Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь...

И занкал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?..» — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.

Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез.

Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора.

— Теперь я вам прочту, — сказал он, — первую главу моих «Мертвых душ», хоть она еще не обделана...

Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвых душах». Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное... Любопытство к «Мертвым душам» возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.

Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками...

Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский...

Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выразилось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробежали по телу от удовольствия.

После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно поглядывал на всех нас... «Гениально, гениально!» — повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.

Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех...<sup>168</sup>

На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому...

Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы «Мертвых душ» нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.

Белинский слушал Аксакова с жадностью и смотрел на нас с завистью.

— Черт вас возьми, счастливицы! — сказал он. — Я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...

Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича<sup>169</sup>.) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в «Старосветских помещиках» и «Невском проспекте». От «Ревизора» он был вне себя.

Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора...

Замечательно, что когда впоследствии Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики<sup>170</sup>.

Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагоприятно, между прочим боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика может несколько окомпрометировать его в глазах их...

Сергей Тимофенч Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене по случаю приезда Гоголя в Москву...

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя...

— Константин Сергееч!.. Полноте!.. поберегите себя!..— восклицал Николай Филиппович Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

— Оставьте меня в покое,— отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

— За что же сердиться? Я желаю вам добра... Вот,— продолжал он, обращаясь ко мне,— Константин Сергееч на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью... В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре».

Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все боготворимые им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.

На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

— Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает,— говорил ему Николай Филиппович,— вы его избаловали... Не правда ли? а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

— Да, это он сделал напрасно,— заметил К. Аксаков с огорчением...<sup>171</sup>

Николай Филиппович Павлов сидел в первом ряду, в желтых перчатках, в лакированных сапогах, от времени до времени вынимал из кармана золотую табакерку и с какою-то особенною грациею понюхивал табак. В антрактах он прогуливался по театральной зале, заговаривая со всеми знаменитостями. Если бы я не имел удовольствия лично знать автора «Трех повестей», я принял бы его, наверно, за какого-нибудь знатного московского барина по его наружной изящности и особенным манерам.

Белинский, робкий, неловкий, не имевший никаких манер,— в поношенном сюртуке, застегнутом на все пуговицы,— был просто жалок, когда он стоял рядом с Павловым, благосклонно с ним разговаривавшим и подносившим ему свою золотую табакерку (Белинский нюхал табак).

Время, о котором я говорю, было самым цветущим временем Н. Ф. Павлова, незадолго перед этим вступившего в брачный союз с известною московскою поэтессою, девицею Яниш, которая, кроме своего таланта, владела еще тысячею душами крестьян и домом на Сретенском бульваре, с парадной лестницей и швейцаром...

Павлов победил ее своими «Тремя повестями», которые произвели фурор при своем появлении,— и она отдала свое поэтическое сердце и свою руку счастливому повествователю.

Когда Николай Филиппович представил меня своей супруге, я ощутил неволью некоторую робость...

Передо мною была высокая, худощавая дама, *вида строгого и величественного*, как леди Локлевен Вальтер-Скотта<sup>172</sup>. В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, риторическое. Она остановилась между двумя мраморными колоннами, с чувством достоинства слегка наклонила голову на мой поклон и потом протянула мне свою руку с величием театральной царицы... Мне казалось, что мне следовало в эту минуту стать на колени, чтобы приложиться к ней,— однако я просто пожал ее.

Через пять минут я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете и что последний написал ей несколько строк в альбом...<sup>173</sup> Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками... Через четверть часа Каролина Карловна продекламировала мне несколько стихотворений, переведенных ею с немецкого и английского...

Когда я короче познакомился с Каролиной Карловной, я заметил, что манеры ее, несмотря на их театральное величие, отзывались иногда не совсем приятною грубоватостию.

Однажды Н. Ф. Павлов, в гостиной дома Аксаковых, стоял перед зеркалом и натягивал желтые пер-

чатки. Он хотел отправиться куда-то. Супруги его не было... Она приехала после и вошла в гостиную в ту минуту, когда он охорашивался у зеркала... Она значительно мигнула г-же Аксаковой, приставила палец ко рту и, на цыпочках пробравшись к супругу, изо всей силы ударила его в спину.

Николай Филиппович вскрикнул во все горло, покорчиваясь обернулся назад, взглянул на свою супругу и сказал:

— А я думал, что это меня какой-нибудь солдат ударил в спину...

Каролина Карловна приезжала в Москву изредка. Она жила на даче по Владимирской дороге, и К. Аксаков раза два возил меня к ней... Я помню, что в один из этих приездов мы сидели втроем на балконе дачи и забавлялись шуточными переводами некоторых стихотворений Виктора Гюго, между прочим:

*Ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte... и т. д.*<sup>174</sup>

Я помню два первые стиха нашего подстрочного перевода:

Сей век о двух годах. Рим Спарту заменил,  
Под Бонапартом уж Наполеон сквозил...

Каролина Карловна находила эти стихи очень забавными и торжественно декламировала их, распространяя в воздухе правую руку.

Несколько лет после этого, в один из приездов моих в Москву, она жила на той самой даче в Соколове по петербургской дороге, которую занимал впоследствии Искандер<sup>175</sup>. В день ее рождения (кажется, в июле) я вместе с Сатиным приглашен был к ней обедать.

Мы приехали к четырем часам.

У подъезда и на крыльце нас встретили лакеи в летних платьях с гербовыми пуговицами... Чей герб был на этих пуговицах: Николая Филипповича или Каролины Карловны, или два их соединенные герба, — я не знаю<sup>176</sup>.

Николай Филиппович повел нас в небольшую комнату, где находилось уже несколько гостей. На столе перед диваном стояла большая открытая шкатулка,

обитая внутри малиновым бархатом. Это был дамский дорожный несесер с вызолоченными вещами, поднесенный Николаем Филипповичем супруге и поставленный здесь, вероятно, на удивление гостей.

Хозяин дома, до появления хозяйки, занимал нас рассказами... Николай Филиппович Павлов есть живое доказательство понятливости, ловкости и сметливости русского человека. Его назначали в актеры, и он получил первое образование в театральной московской школе. Можно представить себе, что это было за образование; притом сценического таланта у него не оказалось ни малейшего; но его бойкий ум, переимчивость, смелость, его замечательные способности обратили на него особенное внимание Кокошкина. Павлов выучился довольно порядочно по-французски и даже начал говорить очень недурно на этом языке... Он, кажется, занимался также и английским языком, доказательством чего служит его перевод «Венецианского купца» Шекспира. В доме Кокошкина, куда съезжалась вся аристократическая Москва, он приобрел знакомства, получил внешнюю полировку, превратился, наконец, в совершенного московского джентльмена — и оставил сцену. Кокошкин определил его на службу...

Павлов вышел в отставку и обратился к литературе... Имя его приобрело громкую известность «Тремя повестями». Либеральное направление этих повестей обратило на автора внимание правительства. Говорят, будто даже сам император удостоил их прочтения и, строго осудив их неблагонамеренное направление, заметил, чтобы посоветовать талантливому автору избегать впредь такого рода сюжетов, что он может заняться, например, описанием кавказской природы или чем-нибудь подобным... Этим повестям Павлов обязан, как я уже заметил, и браком своим с девицей Яниш...

У Павлова была всегда страсть к картам, которая развилась в нем сильнее при расширении его средств: говорят, что он проигрывал и выигрывал в вечер по 10 и 15 тысяч и расстроил состояние жены своей, от которой имел полную доверенность на управление ее именем. Отсюда начались между супругами весьма неприятные домашние сцены, окончившиеся, как из-

вестно, разрывом и большою неприятностью для Павлова. Это подало повод Соболевскому, отъявленному врагу его, написать следующие куплеты:

Ах, куда ни взглянешь,  
Все любви — могила!..  
Мужа мамзель Яниш  
В яму посадила.  
Молит эта дама,  
Молит все о муже:  
— Будь ему та яма  
Уже, хуже, туже...

и т. д.<sup>177</sup>

Говорят, что известное четверостишие Соболевского:

Не в ту силу, что ты жалок,  
Не даю тебе я палок,  
Но в ту силу, что мне жалки  
Щегольские мои палки —

было написано им также на Павлова. Откуда истекала ненависть Соболевского к Павлову, я не знаю; но известно, что Соболевский всегда носил с собою афишку, в которой был возвещаем бенефис каких-то трех посредственных актеров и в том числе Павлова. «Это я так берегу, на всякий случай,— говорил Соболевский,— если Павлов забывается, я обыкновенно вынимаю на этот случай эту бумажку и издаю молча показываю ее ему». Павлов, сделавшийся литератором и светским человеком, страшно боялся, чтобы ему напоминали о его прежнем поприще...<sup>178</sup>

Впрочем, Павлов пользовался вообще репутацией очень либерального и неподкупного человека,— по крайней мере, в кругу известных московских литераторов<sup>179</sup>. Он был очень хорош с Аксаковым, Хомяковым и Шевыревым, хотя имел совершенно западное воззрение и не разделял несколько их славянофилизма.

В то время (это было в конце 40-х годов), когда мы с Сатиным приглашены были в Соколово праздновать рождение Каролины Карловны, семейные отношения супругов уже начинали колебаться. Г-жа Павлова взяла слово с своего мужа не брать в руки карт. Он держал это слово: сам точно не брал их в руки, но просил играть за себя других... Супруга не подозревала этой хитрости, и колебавшееся домашнее спокойствие кое-как еще поддерживалось... Я сказал, что мы



приехали в Соколово в четыре часа и что хозяин дома занимал нас более часа своими рассказами в ожидании супруги. Appetit уже начал беспокоить нас, но в четверть шестого растворились двери — и Каролина Карловна, накрахмаленная и нарядная, появилась с большою торжественностью.

Она удостоила обратить на меня особенное внимание и предложила мне руку, чтобы пройтись по саду.

Николай Филиппович с остальными гостями последовали за нами. Едва сделали мы несколько шагов, как Каролина Карловна объявила мне, что она пишет большую поэму под названием «Кадриль», и начала мне декламировать из нее отрывки наизусть с пафосом и с драматическими жестами. Мы обошли все аллеи довольно большого сада, а декламации не предвиделось и конца.

Николай Филиппович решился воскликнуть:

— Что же, Каролина Карловна, мы будем сегодня обедать? Уж шесть часов.

— Ну, прикажите подавать, — отвечала она и продолжала декламацию.

Наконец мы подошли к столу. В эту минуту в столовой появились маменька и папенька Каролины Карловны, старичок и старушка очень приятной наружности. Они очень скромно уселись за стол, с подобострастной любовью и уважением посматривая иногда на свою талантливую дочь, перед авторитетом которой они преклонялись безусловно. Отец Каролины Карловны имел слабость к живописи и малевал какие-то картины; мать вязала чулки и исполняла обязанность ключницы...

Дочь царила в доме и хлопотала только о том, чтобы придать ему аристократическую наружность и некоторого рода живописность. Она, говорят, даже осматривала туалет маменьки и папеньки перед их выходом к гостям...

Маменька была одета с немецкою аккуратностью и щепетильностью, в отлично сплюсненном чепчике и в искусно гофрированном воротничке около шеи. Папенька в летнем пальто цвета небеленого батиста. Длинные серебряные его волосы с тщательным пробором на середине головы спускались до плеч. Эти две фигуры были точно сняты с какой-нибудь фламандской картины.

За обедом более всех говорила, конечно, сама хозяйка дома. Предметом ее разговора была литература и описание гениальных способностей ее сына...

Каролина Карловна выражала большое неудовольствие на Белинского, который неуважительно отзывался о поэтическом таланте Хомякова в «Отечественных записках», замечала, что каждый стих Хомякова звенит, как золото, и в доказательство продекламировала несколько стихотворений его. Затем она перешла к своему собственному таланту... В ту пору только что появились в «Отечественных записках» стихотворные пародии, и г-жа Павлова объявила, что недавно, гуляя по саду, она также вздумала импровизировать пародию — и надеется, что эта шутка не хуже петербургских пародий.

— Я вам прочту ее, — сказала она.

Она положила салфетку на стол и, приняв торжественный вид, начала декламировать...<sup>180</sup>

Николая Филипповича подергивало... Г-н и г-жа Яниш с благоговейным восторгом следили за дочерью.

Николай Филиппович, впрочем, сам в это время был еще в восторге от стихов своей супруги и нередко при ней читал нам наизусть ее стихи, причем она обыкновенно величественно улыбалась и значительно поглядывала на нас...

Кетчер был довольно близок с Павловым, но не любил бывать в его доме, потому что не чувствовал расположения к его супруге. Г-жа Павлова не могла также питать к нему особенной симпатии. Своей фигурой, своими жестами, своими криками, своим хохотом, своею непрощенною резкою правдою и вообще своею циническою бесцеремонностию — Кетчер был неудобен для дома с такой великосветской обстановкой... В его присутствии нарушалась щегольская чопорность и оскорблялась искусственность этого дома.

Что касается до меня, то я очень любил быть вместе с Кетчером у Павловых.

Контраст между им и хозяевами дома со всею их обстановкой был очень забавен. К тому же, надо сказать правду, без Кетчера у Павловых была тоска нестерпимая, потому что уж все в этом доме было как-то слишком изящно, чинно, прилично и рассчитанно...

### ГЛАВА III

*Воззрения Белинского и его кружка в 1839 г.— Встреча Белинского с студентом Кавелиным.— Мои письма к г. Краевскому о Белинском.— Отрывки из письма ко мне г. Краевского.— Мой отъезд из Москвы в деревню.— Возвращение в Москву.— Еще письмо г. Краевского.— Вечера у Воткина.— Статья Белинского по поводу книжки о «Бородинской годовщине». — Негодование Белинского против Менцеля.— Отъезд мой с Белинским из Москвы.*



Белинскому я заходил каждое утро... Он очень хандрил и жаловался на боль в груди... Обстоятельства его были в это время печальные. Степанов, издатель «Московского наблюдателя», платил ему помещенно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию. Белинский сначала был увлечен мыслию стать во главе журнала, сотрудниками которого должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья... Он твердо был убежден, что при их содействии, соединенном с его кипучей, энергической деятельностью, успех журнала будет несомнен... «Я покажу, чем должен быть журнал в наше время», — писал он ко мне... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе пятой книжки все средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о том, что журнал переходит под редакцию Белинского; непрактичность и издателя и редактора, пустивших очень небольшое число объявлений о преобразовании журнала, в которых притом глухо и неопределенно сказано было о переходе «Наблюдателя» от г. Андросова (бывшего редактора) под новую редакцию. Впрочем, и это, может быть, не зависело ни от издателя, ни от редактора. И наконец, то примирительное направление первых книжек возобновленного «Наблюдателя» — направление, которому публика никак не могла симпатизировать.

Сотрудники видели, что дело не ладится, и охладели к журналу. Белинский был недоволен составом первых книжек и совершенно упал духом. Между ним

и некоторыми из его друзей произошли недоразумения: с одним из них, Боткиным, как я говорил уже, Белинский в течение нескольких месяцев совсем не видался; Константин Аксаков начинал с ним внутренне расходиться, уже слишком склоняясь к славянофилизму...<sup>181</sup>

При таких неблагоприятных обстоятельствах Белинский задолжал в лавочку. В долг ему не хотели ничего отпускать. Обед его, при котором я не раз присутствовал, был и без того непривлекателен: он состоял из дурно сваренного супа, который Белинский густо посыпал перцем, и куска говядины из этого супа... Конечно, Белинский не мог умереть с голода — близкие люди не допустили бы его до этого; но жить благодеяниями — и еще при сознании своей силы и таланта, при уверенности, что он мог бы приобретать достаточно своими трудами — нелегко. Всякий дрянной фельетонист, с некоторым практическим тактом, был гораздо обеспеченнее Белинского, живя только одним своим ремеслом... При своих внутренних силах и энергии Белинский был бессильным ребенком в жизни, как многие, впрочем, умные люди, принадлежавшие к его поколению, — и вследствие этого легко и за ничтожную плату отдавался в руки спекуляторов, ужасаясь мысли умереть с голоду или жить благодеяниями, что еще хуже...

Через несколько времени после приезда моего в Москву Белинский уже объявил мне, что «Наблюдатель» продолжаться не может. Неудача его он приписывал разным причинам, — но он в это время еще не подозревал, что в самом направлении, которое он хотел придать журналу, заключалась невозможность его успеха.

Увлечшись толкованиями Бакунина гегелевой философии и знаменитой формулой, извлеченной из этой философии, что (все действительное разумно), — Белинский проповедывал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей природы, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал за *искусство для искусства*. Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская револю-

ция — делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше... Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах XVIII столетия, о критиках, не признававших теории «искусства для искусства», о писателях, заявлявших о необходимости общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж-Санд. Искусство составляло для него какой-то высший, отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только вечными истинами и не имевший никакой связи с нашими житейскими дрязгами и мелочами, с тем низшим миром, в котором мы вращаемся. Истинными художниками почитал он только тех, которые творили *бессознательно*. К таким причислялись Гомер, Шекспир и Гете. Гете назывался не иначе, как олимпийцем. Шиллер не подходил к этому воззрению, и Белинский, некогда восторгавшийся им, охлаждался к нему по мере проникновения своей новой теорией. В Шиллере не находил он того спокойствия, которое было непременным условием свободного творчества, того объективного, бесстрастного взгляда, который проявлялся в произведениях олимпийца Гете, за исключением, впрочем, 2-й части «Фауста», которая всегда казалась Белинскому сухой и мертвой символистикой... Пушкин, к великому, впрочем, сожалению Белинского и его друзей, также не совсем подходил под их теорию, — в нем не отыскивался элемент примирения, и потому стихотворения Ключникова (θ), в которых ясно выражался этот элемент, были признаваемы Белинским и его кружком хотя уступающими Пушкину по обработке и форме, но несравненно более глубокими по мысли<sup>182</sup>.

Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям и формулам, в которых еще тревожно путался сам Бакунин.



— Кто это такой? — спросил я, — и отчего вы с ним обошлись так холодно?..

— Это бывший мой ученик, — отвечал Белинский, — Кавелин, мальчик очень умный, горячий, с большими способностями, подающий большие надежды; но я терпеть не могу, когда мальчишки пристают ко мне, — ну, о чем мне толковать с ними? Что я могу иметь с ними общего?

Студент этот был тот самый Кавелин, который через несколько лет после этого получил блестящую известность на кафедре Московского университета и присоединился к кружку Белинского. Кавелин припоминал не раз Белинскому об этой встрече, и оба они очень смеялись...

В этот вечер Белинский был очень не в духе, обнаруживал особенное раздражение и жаловался на боль в груди...

Когда я зашел к нему, он бросился в кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша. Несколько минут он не говорил ничего. Наконец, бледный, с страдающим лицом, он обратился ко мне.

— Нет, — сказал он, — мне во что бы то ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела, и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида-Краевского?

Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о погибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в «Отечественных записках». Я не скрыл от него, как г. Краевский отзывается об нем.

— Он вполне надеется, — прибавил я, — что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.

Белинский горько улыбнулся.

— Ну, нечего сказать, — хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич — бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать; ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем намекайте ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о *Мэнцеле* — и расхвалите ее, разу-

меется, как можно больше, и прибавьте, что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана, — ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним да обделайте это дело половчее... Не говорите ему об моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...

В письмах к г. Краевскому я говорил всякий раз что-нибудь о Белинском и его кружке... Г. Краевский между тем завел переписку с Катковым, который через меня обещал ему статью для журнала. Уже в первых письмах г. Краевского ко мне заметно было, что бессилие и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомневался, что только чувство собственного достоинства мешает ему обратиться прямо к Белинскому. Воспользовавшись этим, я написал г. Краевскому прямо, что Белинский предлагает ему свое сотрудничество, что недурно было бы, если он перепечатает в своих изданиях превосходную статью Белинского о «Сыне отечества» Полевого, что у Белинского есть статья о Менцеле, которая производит в Москве фурор и которую он не прочь был бы прислать в «Отечественные записки»...

В ответ на это я получил от него письмо (от 20 июня). Он писал мне, между прочим, следующее:

«Статья о «Сыне отечества» перепечатается (если она едка) в «Литературных прибавлениях» из «Наблюдателя» под таким названием: Справедливое суждение «Московского наблюдателя» о «Сыне отечества»; в pendant к Справедливому суждению «Сына отечества» об «Отечественных записках», перепечатанному в «Пчеле»...<sup>184</sup>

«Прошу Белинского статью о Менцеле и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий и вопрос: «как устроится это сотрудничество? по каким частям?» и проч.

Я тотчас же отправился с этим письмом к Белинскому. На Белинского оно произвело очень благоприятное впечатление. Он повеселел. Г. Краевский почувствовал необходимость прибегнуть к крикуну-мальчишке для поддержания своего журнала. Белинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться с своими долгами. Перемена жизни улыбалась ему.



В письме г. Краевского была, между прочим, следующая приписка:

«Ради бога, скажите Каткову, что́ это он со мною делает? не шлет до сих пор окончания своей статьи! Я уж писал к нему об этом,— а он все медлит. О, Москва! Москва!..»<sup>185</sup>

Последнее восклицание очень понравилось Белинскому...

— Это правда,— заметил он,— все мы, москвичи,— прекрасные и умные люди, но всё делаем как-то спустя рукава. В нас недостает безделицы — настоящего практического смысла и настоящей деятельности... На словах мы герои, а чуть до дела...

Белинский не закончил фразы, махнул рукой и повторил, смеясь: «О, Москва! Москва!..»

Перед отъездом моим в Казань, в июле месяце, дело о переезде Белинского в Петербург было решено. Он принял условия г. Краевского: г. Краевский должен был ему выслать к осени вперед незначительную сумму на уплату долгов и на отъезд и обязался платить ему три тысячи пятьсот рублей ассигнациями в год, с тем, чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел «Отечественных записок». Мы решили ехать в Петербург вместе после возвращения моего из Казани в Москву.

. . . . .

Я вернулся в Москву в начале октября.

10 октября я получил письмо от г. Краевского. Вот отрывки из него:

«Христа ради, хлопочите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтоб вырвать у Гоголя статью для «Отечественных записок». Кстати. Я объявил было в «Литературных прибавлениях» о приезде Гоголя в Москву; но Плетнев сказал мне, что получил от него письмо с просьбою — никому не объявлять, что он в Москве... Жуковский сказывал мне, что Гоголь через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. *Растолкните ему необходимость поддерживать «Отечественные записки» всеми силами.* Если же он сделался равнодушен к судьбам

«российской словесности», чего я не ожидаю, то покажите ему впереди за статью хорошие деньги, в которых он, верно, нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и здесь напасть на него соединенными силами...»<sup>186</sup>

«...Виссариону Григорьичу низкий поклон и благодарение за статьи его. В статье о «Бородинской годовщине» Никитенко выкинул два места: что делать! Он не любит Европы и не хочет признавать, чтоб в ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось так, как было, кроме отзыва о Жуковском, который я помягчил. Статья о книге доктора Ратье также изменена мною, потому что один из здешних дельных врачей доставил мне о ней статью: ведь мы с Виссарионом Григорьичем в этом деле профаны, надо верить тому, кто лучше знает...»<sup>187</sup>

«Утешьте Виссариона Григорьича: браниться можно обиняками, как увидит он из статьи Онтабуки в «Литературных прибавлениях». \* В статье его для «Литературных прибавлений» не делано было ни мною, ни Межевичем никаких прибавлений, — все это делал бич журналов — цензор Лангер, а в разборе «Стихотворений Леонова» (Каткова) — Никитенко...»<sup>189</sup>

«Убедите, бога ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылал к нему еще в сентябре и которого, как видно из его писем, он не получал. Что же это такое, господи боже мой! Времени мало, урвешься написать — да и то пропадет! Я адресовал его на имя г. Боткина, как сам же Катков просил: отчего же оно пропало? Скоро буду к нему еще писать и уж адресую на имя Галахова. Авось будет вернее!»

«Поблагодарите г. Боткина за его премилую статью о музыке Лангера...»<sup>190</sup>

«Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Ключникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов стдал бабам читать своего «Демона», из которого я хотел напечатать отрывки, и бабы черт знает куда дели его; а у него уж, разумеется, нет черногого; таков мальчик уродился!...»<sup>191</sup>

---

\* Статья эта против Греча была написана, кажется, самим г. Краевским, по крайней мере он очень гордился ею и часто ссылался на нее как на образец остроумной полемики<sup>188</sup>.



*И. И. Панаев*

И. И. ПАНАЕВ  
Гравюра Ф. Брокгауза. 1850-е годы



**В. Г. БЕЛИНСКИЙ**  
*Литография с оригинала К. Горбунова. 1843 год*



Н. А. НЕКРАСОВ  
*Портрет работы И. Н. Крамского. 1877 год*



А. И. ГЕРЦЕН и Н. П. ОГАРЕВ  
*С фото братьев Майер. 1860-е годы*



Т. Н. ГРАНОВСКИЙ  
*Литография с дагерротипа. 1848 год*



С. Т. АКСАКОВ  
*Фото А. Бергнера. 1850-е годы*





К. С. АКСАКОВ  
*Фото А. Бергнера. 1850-е годы*



И. И. ПАНАЕВ  
*Аquareль Н. Алексеева. 1840-е годы*



**В. А. СОЛЛОГУБ**  
*Автолитография Вагнера.*  
1843 год



**И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ**  
*Портрет работы А. Тиранова*  
[1835]



**П. А. ПЛЕТНЕВ**  
*Литография*



**В. Ф. ОДОЕВСКИЙ**  
*Акварель А. Покровского.*  
1844 год



П. В. АННЕНКОВ

*Литография А. Мюнстера по фотографии А. Денъера. 1850-е годы*



**М. Н. ЗАГОСКИН**  
*Литография. 1820-е годы*



**Н. В. КУКОЛЬНИК**  
*Рисунок К. Брюллова*



**М. С. ЩЕПКИН**  
*Акварель А. Добровольского  
1839 год*



**М. И. ГЛИНКА**  
*Рисунок неизвестного художника.  
1837 год*



Н. Ф. ПАВЛОВ

К. К. ПАВЛОВА

*Рисунки Э. Дмитриева-Мамонова. 1848 год*



В. П. БОТКИН, И. С. ТУРГЕНЕВ и А. В. ДРУЖИНИН  
*Рисунок Д. Григорьевича. 1855 год*



Н. А. ПОЛЕВОЙ  
*Карикатура Н. Степанова*



ПЕТЕРБУРГ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ



ПЕТЕРБУРГ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ



«...Жду вас и Виссариона Григорьича. Ради бога, приезжайте скорее...»

Далее в письме речь о каком-то доносе Булгарина.

Из этого письма видно, что между г. Краевским и кружком Белинского начались уже деятельные сношения...

По возвращении моем в Москву я, к великому удовольствию, увидел, что все недоразумения между Белинским, Боткиным и отчасти Катковым прекратились и что они находятся в полном мире и согласии.

Белинского я застал в очень хорошем расположении духа... Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляла его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву...

Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина... Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению. Белинского это ужасно мучило... Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в «Отечественных записках» приводило Белинского в экстаз, — а между тем в этих стихотворениях примирения не было и тени! Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он молод, что он только что начинает, несколько успокоивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества — художественного спокойствия и объективности... Ключников, сам имевший в себе частичку демонизма, очень симпатизировал таланту Лермонтова и довольно остроумно подсмеивался над некоторыми толками о поэте; Катков и К. Аксаков прочитывали свои переводы из Гейне, Фрейлих-грата и из других новейших немецких поэтов. Катков обыкновенно декламировал с большим эффектом, принимая живописные позы, складывая руки накрест, подкатывая глаза под лоб...

Я никогда не забуду этих вечеров...

Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через 20 с лишком лет, кажутся смешными! Сколько кипения крови, сколько увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг... Этот кружок займет важное место в истории русского развития... Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы.

Я всей душою привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием...

Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Глинки «Бородинская годовщина», которую он отослал для напечатания в «Отечественные записки».

— Послушайте-ка,— сказал он мне,— кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг,— ну, а мнение его чего-нибудь да стоит! Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка *вытанцовалась*...

И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, с каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после.

Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически...

— Удивительно! превосходно! — повторял я во время чтения и по окончании чтения: — но... я вам замечу одно...

— Я знаю, знаю что, не договаривайте,— перебил меня с жаром Белинский,— меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали...

Он начал ходить по комнате в волнении.

— Да! это мои убеждения,— продолжал он, разгораясь более и более... — Я не стыжусь, а горжусь

ими... И что мне дорожить мнением и толками черт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев,— вы ведь еще меня мало знаете...

Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.

— Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода — я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унижить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною...

Он бросился на стул, запыхавшись... и отдохнув немного, продолжал с ожесточением:

— Эта статья резка, я знаю — но у меня в голове ряд статей еще больше резких... Уж как же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмеливается судить об искусстве, ничего не смысля в нем!<sup>192</sup>

...По мере приближения нашего отъезда в Петербург Белинский становился все оживленнее и веселее.

— Теперь уж я не ваш! — говорил он, смеясь, своим друзьям.— Я петербуржец... А вы — москвичи, провинциалы; да, ваша Москва — провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею...

Белинский глубоко благоговел перед реформою Петра I и оправдывал ее во всех ее крайностях. Петербург поэтому еще особенно привлекал его...

Кетчер кричал против Петербурга изо всей силы; К. Аксаков, ударяя себя в грудь, восклицал, что Москва выстрадала за Русь, что она искупительница России, что она ее центр, что вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург — город дворцов и казарм, временный лагерь.

— Ничего,— перебил Белинский,— придет время и Петербургу,— он еще молод... Петербург имеет уже

одно важное значение, что это — *окно, прорубленное Петром в Европу*<sup>193</sup>.

К. Аксаков при этом выходил из себя. Хотя еще он не питал той непримиримой ненависти к Петру I, которая развилась в нем впоследствии, — но он и в это время уже не чувствовал к нему расположения...

...День нашего отъезда в Петербург, наконец, наступил. Нас провожали до Черной грязи Боткин, Кетчер и Катков.

Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома...

Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расхотелся, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского — и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен. Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко... Боткин обнаруживал сильное нетерпение...

— Уж поезжайте лучше скорей, друзья, — повторял он, качая головою. — Проводы эти всегда ужасно тяжелы.

— К чему торопиться? вздор! — кричал Кетчер, — да вы не допили еще своих стаканов, — но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда.

— Ну, прощайте, господа, — сказал он, — не забывайте меня...

Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностью, говорил:

— Ну, я рад за тебя, Виссарион... Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего...

Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко, несколько раз поцеловал его.

Кетчер поднес ему стакан с шампанским.

— Ну, Виссарион, чокнемся, — сказал он. — Теперь ты *должен* выпить.

Белинский выпил стакан без противоречия.

— Молодец! — закричал Кетчер, целуя его. — Ну, теперь прощай, да смотри же, не поддавайся Краевскому...

Когда карета двинулась и мы высунулись в окно, — Боткин с нежною грустью смотрел на нас, махая своим платком, Кетчер кричал что-то и размахивал фуражкой, Катков стоял неподвижно со сложенными накрест руками, с надвинутыми на глаза бровями, провожая нас глубоким и задумчивым взглядом...

#### ГЛАВА IV

*Клюшников, Кетчер и Бакунин и вообще их московский кружок*<sup>194</sup>.

.....  
.....  
.....

#### ГЛАВА V

*Грановский и московский кружок.*



Теперь, оставляя на время хронологический порядок, которого я насколько мог придерживался в моих «Воспоминаниях», я хочу остановиться на Грановском и по этому поводу поговорить вообще о московском кружке. Я не имею претензии представить полный образ этого человека, рассмотреть со всех сторон эту замечательную личность — указывать на значение Грановского как профессора, разбирать его исторические труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что это мне не по силам. Я просто и откровенно выскажу о нем то, что знаю. Если в этом слабом очерке найдется хоть одна незамеченная и новая черта, которая пригодится для его будущей биографии, — я буду доволен и этим...

Когда я возвратился из Казани в Москву, Грановский незадолго до меня приехал в Москву из-за границы, где он пробыл три года (с 1836—1839). Он тотчас же сошелся с Белинским и с его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, с которым он познакомился за границей и к которому привязался всей силой души<sup>195</sup>.